



Будь наша воля, "ВК" объявил бы писателем года живущего ныне в Эстонии ленинградца Михаила Веллера. Двадцать лет писал человек рассказы, издавал по сборнику в три-четыре года. Сейчас публикует по книге в месяц. После шумного успеха "Легенд Невского проспекта", где литературная изысканность сочеталась с баечной интонацией и лихими сюжетами, которые можно пересказывать в компании как анекдоты, издатели кинулись за Веллером шустрее, чем за Чейзом. И оказалось, что наработано у писателя много хорошего и очень разного.

Михаил ВЕЛЛЕР:

— Михаил, вы сейчас, похоже, опубликовали все написанное, включая ранние произведения. Но перемены последних десяти лет заставляют многих писателей отказываться от своих старых вещей...

— В шестнадцать лет я прочитал в "Новом мире" стихи своего ровесника. Стихи были не плохие и не шедевры. В редакционном врезе говорилось: мы печатаем самого молодого поэта Союза... Я тогда подумал, что самым молодым я уже не стану. Тем более молодость — это временно. Значит, остается быть только самым лучшим. Получилось или нет — всегда судить другим, но внутренняя установка такая, я считаю, совершенно справедливая. Далее. Жизнь моя складывалась кубарем и кувырком, и к двадцати пяти годам я схватился за голову — тоже довольно типично: мне уже двадцать пять, у меня имеются мысли, надежды, замыслы, черновики, но по-настоящему — только несколько очень коротких рассказов. И тогда мне очень понравилась — разумеется, в упрощенной форме, как всегда бывает с легендами — творческая судьба Кортасара, который до тридцати лет просто не выпускал себя на ринг, а в тридцать, решив, что пишет лучше всех в Латинской Америке, отправился по редакциям, и в самом деле все получилось неплохо. Я решил, что буду писать только так, чтобы сам мог сказать: здесь все в порядке. Иначе это просто не имело бы смысла. Профессия эта такая, что нужны только штучные работы — конвейер никому не нужен. Я пишу очень медленно. Иногда на страницу уходит неделя. А иногда и на абзац уходит неделя. В среднем у меня набиралось сто двадцать страниц в год. А если человек безусловно взрослый делает что-то без дураков, то, простите, чего же тут стыдиться? Так называемые ранние опыты, черновики и прочее я просто выкидывал — я не собиратель архивов. А под тем, что публиковал, я и сейчас готов подписаться.

— Прочитав "Легенды Невского проспекта", я решил, вот какой должна быть сегодняшняя литература: для читателя попроще — сюжетность, для читателя поинтереснее — изыск. Но другие ваши вещи сделаны иначе...

— Я всегда полагаю, что жизнь очень разная, люди очень разные и рассказы должны быть очень разные. О. Генри был блестящий новеллист. И Джек Лондон, и Шукшин в своих лучших рассказах были блестящие новеллисты. Но это только одно направление. А мне хотелось всего и разного. Причем более всего мне хотелось такого, чего никто не писал. Оканчивал я русскую филологию Ленинградского университета, на вторую половину шестидесятых безусловно лучшее русское отделение в мире. И новеллистику, занимаясь ею еще для себя, с прицелом на всю жизнь, я знаю, пожалуй, лучше, чем все, кого встречал. В конце концов должен же я что-то знать, гуманитарий, болтолог... Так вот, я стремился к тому, чтобы в первой моей книге все рассказы были абсолютно разные, все сделаны так, как никогда не делалось, с каким-то поворотом, которого не существовало до меня...

А байки накапливались сами собой. Ходишь по Невскому, встречаешься с друзьями, заказываешь кофе в "Сайгоне", что-то слышишь, потом пересказываешь другим, это обкатывается в мозгах. И вот кончился Советский Союз, стало можно пе-

«Я дрыгал лапками, сколько мог. И сбил масло»

читать вообще все, и пошло: чернуха — заушь, чернуха — заушь. А у меня в голове засела со старых времен старая истина: если тебе дают линованную бумагу, пиши поперек. Перпендикулярно. Когда все пишут чернуху или заушь, порядочный человек должен писать что-то другое. Это так же, как я не могу курить "Мальборо": то, что курит любой лоточник в спортивных магазинах, человек, чуждый лоточничеству, уже не может брать в рот. Так вот, я и подумал, что натура уже ушла, людей тех в основном уже нет, реалии забываются, а житуха-то в общем сейчас трудная, и людям иногда охота почитать что-нибудь такое, чтобы голова не болела и противно потом не было. И вот тогда, в девяносто первом году, я засел за эти байки. Ни одной своей книги я не писал так быстро, так весело, с таким легким удовольствием. Обычно я черновик делаю от руки, тихо, спокойно, неторопливо, бумага белая, чернила черные... А тут я колотил прямо на машинку, и пальцы не поспевали. У меня был день, когда я наколотил два черновика по пятнадцать страниц. Потом я эти тексты очень медленно отработывал, но все равно для меня книга была написана очень быстро.

— Есть некий баланс — искусство для творца и искусство для читателя, зрителя и так далее. К какой стороне вы ближе?

— Первые несколько лет первые несколько десятков рассказов я делал только на себя и на господ Бога, полагая, что я пишу так, как, по-моему, должно быть; каждому, кто поймет, большое спасибо. Но должен сознаться, что со временем появились и иные мотивы. В восьмидесятом году я копал с археологами остров Березань, и там оказалось несколько людей, которые читали мою первую книжку — "Хочу быть дворником". А были там ребята, которые говорили: "Дядя Миш, мы понимаем, что вы писатель, а мы пэтэушники, но все же охота почитать, не могли бы вы написать что-нибудь попроще?" Поскольку ребята были хорошие, мы ели одну кашу из мисок, спали в одной палатке и копали одну яму, мне хотелось бы, чтобы им тоже было понятно и нравилось. И когда я в том же году осенью сел за "Приключения майора Звягина"... Делал я это для себя, и был случай, сидел над одной фразой неделю, твердо зная, что в книге такого жанра и прицела проще вычеркнуть эту фразу. Но халтурить ведь нельзя, халтурить — это смерть: сегодня ты тренировался не в полную силу, а завтра возьмешь ту же высоту, а на сантиметр выше уже не прыгнешь. Так вот, "Звягина" я делал с прицелом и на читателя, хотя я и сейчас полагаю, что это немного недостойно и мешает искусству.

— Поколение, по-моему, понятие не столько демографическое, сколько историческое: военное поколение, "шестидесятники", поколение оттепели. А вы в каком?

— Я из генерации сорок шестого — сорок девятого годов. Демографический взрыв — послевоенные дети. Мы, условно и высоко выражаясь, вышли на рубежи в самом начале восьмидесятых. И тут-то нам все перекрыли. А нас было много, мы росли в приличные хрущевские времена, у нас была масса надежд, энергии, здоровья. И у большинства по большому счету так ничего в жизни и не получилось по причинам, так от них не зависящим. Так что могу только благодарить богов за то, что дожил, не спился. Было время, когда, я полагаю, и спился бы, но не мог работать под банковской, а во-вторых, пить было не на что. И есть-то было не на что. А идти на какую бы то ни было постоянную работу, чтобы зарабатывать деньги, а потом на эти деньги пить — для меня это был идиотизм из другого измерения. Я полагал, что если потеряю время на работу вместо того, чтобы спать, отдыхать, думать — значит я напишу хуже.

— "Шестидесятники" дали мощную литературу, ударные стройки и еще много всего, чем можно гордиться. Но к восьмидесятым годам многие превратились в затычки на ответственных постах. Может быть, это закономерный путь всякого поколения? Вам не грозит стать бюрократом — вы не служите, но возьмем, к примеру, хоть вашего доброго знакомого Александра Кабакова: известный писатель, преуспевающий зам. главного редактора...

— Мы хорошие друзья с Кабаковым, я его считаю достойным писателем, достойным мужчиной, достойным человеком. Вот вам штришок к его портрету: ни разу не дал мне заплатить в ресторане, даже когда я приглашал. У него жест отработан: он бумажник выхватывает, как Клинт Иствуд кольт. Даже когда мы с ним в прошлом году сидели в ЦДЛ и я получил гонорар двухсотрублевыми бумажками, у меня их был полный портфель. Думаю, сейчас подойдет официант и я вывалю ему эту гору. Так вот, пока я наклонялся за портфелем, он успел расплатиться. Не думаю, чтобы

лать с героем-рассказчиком, но, судя по "Легендам...", юность у вас была этакая богемно-питийная.

— Нет! Богемная жизнь мне всегда была неприятна. Я это всегда полагал выпуская пар в свисток, глупостью, самоутверждением закомплексованных неполноценностью и непризнанностью людей. А кроме того, богема мне всегда была неприятна чисто физически. Почему-то это люди обычно плохо вымытые, грязно одетые, с плохими зубами, с гадкими интонациями, которые не держали слова, которые в драке на улице не бросались подставлять морду за камрада. Без железки в характере. По-моему, все это фуфло и пена, причем пена не на молоке, а на обратном продукте. Я был сам по себе. Полагал, что, если кто хочет писать, пусть сидит дома, зарабатывает деньги, как хочет, и пишет. Вот и все его отличие от граждан других профессий. Кроме того, здесь, может быть, то сыграло роль, что отец мой тридцать четыре года прослужил в армии, рос я в Сибири по гарнизонам, и хотя у нас никогда не происходило бесед о патриотизме, идеологии и так далее, но какие-то вещи просто берутся из воздуха. Из воздуха появилась установка, что мужчина должен быть мужчиной, что за собой надо следить, что слово надо держать. Элементарные вещи. Вот я и жил сам по себе. Да, пить иногда приходилось. Был период, особенно во студенчестве, во втором, на третьем курсах, когда мы пили едва ли не ежедневно. Но не потому, что мы были алкоголики, а потому, что мы были молоды, мы были веселы, мы любили друг друга. Я полагаю, что человек, который не пил и не гулял в молодости, — просто, наверное, ущербный.

— Есть целая идеология и мифология литературы под банкой — а ля папа Хэм...

— Все эти истории, как Андерсен объяснил Фолкнеру, как надо писать; Фолкнеру понравилось, и он с утра садился на балкон с пишущей машинкой и бутылкой виски — все это очень мило, но в большей степени легенды... Когда я начал писать постоянно — в двадцать пять лет, уйдя со всех работ и из первой семьи, — то я выяснил, что мне достаточно днем выпить рюмку водки, и вечером я уже не могу думать в полную силу. Так что у меня эти вещи абсолютно не совмещаются. Иногда действительно хочется принять с хорошим визави грамм по пятьсот под хорошую закуску, но это не имеет никакого отношения к работе. Работа требует здоровья и трезвости.

— А как вы относитесь к своему здоровью? — Как все нормальные люди — конечно, наплевать. Курю, дергаюсь, завариваю чифирь, люблю поест на ночь — все слагаемые инфаркта. Летом раньше я всегда встряхивался — денег-то не было, никто не печатал, — уезжал на заработки на севера, на восток, работал сезон с охотниками-промысловиками на Таймыре, со скотоводами на Алтае, валил лес в Коми и так далее. И возвращался через три-четыре месяца очень здоровым, с прекрасным сном, в шестидесяти семи килограммах, с решеткой мышц на животе. До нового года открывал двери только ногами, а потом начинались опять бессонница и неврастения. Это, по-моему, обычно для всех пишущих людей.

— Сколько всего у вас книг?

— У меня всего за жизнь вышло четырнадцать книг, из них шесть — за последние полгода. И еще шесть должны выйти до Нового года. Несколько лет назад мои хорошие друзья уезжали в Америку, еще была открыта дорога: статус беженца, вэлфер, — и они меня уговаривали ехать: "На кой черт оставаться". На что я ответил: "У меня есть мечта, что через несколько лет будет выходить по две... подумал и добавил: по три книги в год". Я не мог подумать, что будет по шесть в полгода. Могло не повезти. Безумно жаль талантливых людей, которые не дожили до таких времен.

— И как вы восприняли такой прорыв?

— Поскольку это произошло, когда мне было уже сорок шесть, я отнесся к этому спокойно. Я ведь в самом деле не ждал, когда под мой лежащий камень начесть вода, а дрыгал лапками в своем горшке с молоком, сколько мог. И сбил масло. Так что везение, но я и сам что-то делал.

— Писатели говорят, что литературным трудом сейчас не прокормишься.

— Мне грех жаловаться. Могу сводить концы с концами, например, купить себе хороший галстук — и то спасибо.

— Что бы вы хотели пожелать самому себе?

— Был в начале Римской империи добрый обычай: на колеснице триумфатора за ним — стоял раб. И пока все славил триумфатора, который ехал в лавровом венке, в золоченой колеснице, запряженной белой парой, раб говорил ему: помни, ты мал, ты слаб, ты смертен, над тобой — бессмертные боги. А за колесницей шла первая когорта первой центурии наиболее отличившегося в боях легиона и пела веселые похвалы частушки, позорящие триумфатора, чтоб не забывался чересчур... Вот римляне в свои лучшие времена правильно понимали про жизнь. Так что в заключение я бы хотел сам себе пожелать не выпендриваться, жить тихо, не отвлекаться на всяческую глупость и суету типа сценариев с модными режиссерами, работать спокойно и как всегда. До упора: вот пока страницу хорошо не сделаешь, дальше не тронешься.

Распрашивал Евгений НЕКРАСОВ.

Снимал Игорь ИВАНДИКОВ.